

Pierre Rosanvallon

LE CAPITALISME
UTOPIQUE

HISTOIRE DE L'IDEE DE MARCHÉ

Пьер Розанваллон

УТОПИЧЕСКИЙ
КАПИТАЛИЗМ

ИСТОРИЯ ИДЕИ РЫНКА

РЫНОК И ТРИ ЛИБЕРАЛЬНЫЕ УТОПИИ

Рыночную экономику в конце XX века попеременно то превозносили, то безудержно критиковали. К началу 1980-х годов она, казалось, одержала победу и после двухвековой истории подозрений и неприятия была признана в качестве неустраимой формы регулирования сложных систем. Одновременно тем самым был поставлен под вопрос сам смысл социалистической идеи, особенно после того, как с закатом коммунизма были окончательно дискредитированы принципы планирования и коллективной собственности на средства производства. В свою очередь, потрясения, вызванные глобализацией, биржевыми и денежными кризисами конца 1990-х, способствовали возникновению в общественном мнении смутных настроений протеста против «неолиберализма», в котором снова стали видеть источник множества зол. Вновь стал обсуждаться и масштабный вопрос об условиях контроля над мировой экономикой — причем звучал он из тех же уст, что ранее несколько поспешно объявили о вхождении современного мира в эру нового экономического порядка, сулящего стабильность и процветание.

Историю конца XX века на коротком временном отрезке можно было бы свести к описанию этих перепадов и волнообразных изменений, рассматривая их просто как своего рода барометр иллюзий и идеологических установок. Такая история могла бы оставить у нас впечатление, будто речь идет, в сущности, о почти техническом споре по поводу условий и форм эффективного экономического регулирования. Но нетрудно заметить, что здесь мы имеем дело с целями и аргументами иного рода. Проблема глубже: перед нами дискуссия об определенной модели общества и об определенном типе отношения к политической воле. Рынок то чарует, то пугает нас именно потому, что в реальности он связан с чем-то большим, чем просто механизм управления и регулирования. Он оказывается носителем гораздо более обширного и амбициозного

проекта децентрализованной и анонимной организации гражданского общества, подспудно соперничая с демократическим проектом рукотворной организации сообщества.

Рыночное общество

В этой книге сделана попытка внести ясность в эту важнейшую дискуссию современности, исследуя идею рынка в самом широком ее понимании на длительном отрезке времени. Достаточно хоть немного окунуться в экономическую литературу XVIII века, чтобы увидеть, что понятие рынка не является лишь «техническим», что оно неявно отсылает к важнейшей проблематике социального и политического регулирования в целом. Исследование по интеллектуальной истории, результаты которого я здесь излагаю, подтвердило это предположение. Новорожденный экономический либерализм был не просто теорией — или идеологией, — сопровождавшей развитие производительных сил и подъем буржуазии как господствующего класса. Рождение экономического либерализма было не просто выражением требования эмансипации экономической деятельности и высвобождения ее из-под власти морали. Его рождение надо понимать прежде всего как ответ на вопросы, не решенные политическими теоретиками общественного договора. Именно в такой перспективе следует рассматривать концепцию рынка — какой она формируется в XVIII веке. Эта концепция противостоит идее договора; ее смысл главным образом социологический и политический, а вовсе не «технический» (относящийся к способу регулирования экономической деятельности через систему свободно формирующихся цен). В доктрине экономического либерализма проявляет себя стремление к некоему непосредственному, саморегулирующемуся гражданскому обществу. Эта перспектива, аполитическая в строгом смысле этого слова, превращает *рыночное общество* в архетип нового представления о социальном: не договор (политический), а рынок (экономический) является истинным регулятором общества (а не только экономики).

В такой перспективе идея рынка оказывается связанной со всей интеллектуальной историей Нового времени. Начиная с XVII века, вся современная политическая мысль опиралась на понятие общественного договора: именно общественный договор давал начало самому существованию общества. Великой задачей политической философии было помыслить автономное становление общества,

не прибегая к какому-либо внешнему гаранту (в частности, религиозного порядка). Но все теории общественного договора, от Гоббса до Руссо, сталкивались с несколькими фундаментальными теоретическими трудностями. Напомним две основные. Первая состоит в том, что теории общественного договора обосновывают принцип гражданского мира, однако не разрешают при этом вопроса войны и мира между нациями. Если общественный договор представляет общество как игру с ненулевой суммой (все стороны выигрывают безопасность и гражданский мир), то отношения между нациями продолжают рассматриваться как игра с нулевой суммой (выиграть можно лишь то, что теряют другие). Вторая трудность состоит в том, что центральное звено концепции общественного договора — это вопрос об институцировании общества, а проблема регулирования общества не является для нее основополагающей.

Представление о гражданском обществе как о рынке позволит разрешить эти две трудности, вытекающие из представления об обществе как о политическом организме. Теория обмена дает возможность рассматривать экономические отношения между нациями — в отличие от отношений войны — как игру с положительной суммой. Кроме того, она помогает параллельно и непротиворечиво разрешить обе проблемы — проблему формирования и проблему регулирования социального: в гражданском обществе потребность и интерес сами управляют отношениями между людьми. Это понимание общества как рынка получает наиболее полное и яркое выражение в трудах шотландской школы XVIII века, особенно в работах Адама Смита. Главное следствие этой концепции состоит в полном отказе от политического: отныне не политика, а рынок должен управлять обществом. В такой перспективе рынок не сводится к простому техническому инструменту организации экономической деятельности, он несет в себе гораздо более радикальный социологический и политический смысл. Если перечитать Адама Смита с такой точки зрения, то он оказывается не столько отцом-основателем современной экономики, сколько теоретиком отрицания политики. Здесь перед нами не экономист, который философствует, но философ, который становится экономистом в процессе осуществления своей философии. Вот почему Смит — это в полном смысле слова анти-Руссо.

Именно в таком свете следует понимать прославление *commercial society*, которое мы находим у многих авторов XVIII века. Это восторженное отношение не выражает никаких собственно меркантильных устремлений, да, впрочем, и индустриальная революция

в ту эпоху еще не дала хоть сколько-нибудь заметных результатов. Идея рынка в этот период скорее представляет собой некую альтернативную *политическую модель*. Формальным и иерархическим фигурам власти и руководства рынок противопоставляет возможность такой системы организации и принятия решений, которая существенно отделена от любой формы власти; он обеспечивает автоматическую согласованность, он осуществляет перемещение и перераспределение средств таким образом, что в этом движении воля индивидов в целом и «элит» в частности не играет никакой роли. Об этом свидетельствует очень широкий смысл, каким обладает слово *commerce* в XVIII веке. Этот термин включает в себя все, что придает содержательность социальным связям, вне зависимости от форм власти и авторитета. Среди прочего, *doux commerce* (приятное общение) часто противопоставляется жесткости властных отношений. Монтескье был один из первых, кто развил этот важный либеральный *топос* в сочинении «О духе законов» (1748): торговля смягчает нравы и располагает к миру. В становлении рыночного общества ему виделись контуры глубокого преобразования человеческого универсума. Авторы XVIII века надеялись, что эпоха власти, осуществляющей господство, скоро сменится эпохой правления нейтральных механизмов (механизмов обмена), эра лобового столкновения великих держав постепенно перейдет в эру сотрудничества между торговыми нациями. Томас Пэйн доведет эту идею до логического завершения, объяснив, что цель революций в том и состоит, чтобы ускорить этот переход от управления, основанного на насилии, к обществам, основанным на естественной гармонии интересов. Утопичное видение экономики? Сегодня мы естественным образом склонны сказать «да», слишком уж наивным кажется нам это противопоставление добродетелей *doux commerce* и «хорошей» экономики порокам «плохой» политики. Но при этом мы забываем, что люди XVIII века жили в докапиталистическом обществе. Рынок для них, можно сказать, был еще новой идеей, почти свободной от бремени практических испытаний. Потерял ли он ныне это качество? В мои намерения не входит судить и оценивать. Мне кажется более интересным попытаться понять, что стояло — а возможно, и до сих пор стоит — за притягательностью модели рыночного общества.

Чему соответствует эта притягательность, если не сказать подлинный соблазн? Одной из главных характеристик современного общества на протяжении трех последних столетий: стремлению найти способ сделать взаимодействие индивидов менее драматичным, исключить из их отношений игру страстей, предупредить

возможное насилие, порожаемое тем или иным соотношением сил. Рынок как будто бы подходит для решения этой задачи. Он должен установить власть «невидимой руки», и эта власть по природе нейтральна, поскольку безлична. Он обеспечивает социальное регулирование, имеющее абстрактный характер: отношениями между людьми управляют объективные «законы», в этих отношениях нет места подчинению и приказу. Рынок подобен некоему «скрытому богу». В своей книге «Free to Choose»¹ Милтон Фридман следующим образом объясняет, в чем, по его мнению, состоит *политическое* преимущество рынка перед любой другой формой общественного устройства: «Цены, которые формируются в ходе добровольных трансакций между покупателем и продавцом — то есть на свободном рынке, — способны координировать деятельность миллионов индивидов, каждый из которых руководствуется лишь собственным интересом, и так, что общая ситуация от этого только улучшается. <...> Система ценообразования справляется с этой задачей без всякого централизованного управления и не нуждаясь при этом ни в общении людей между собой, ни в их любви друг к другу. <... > Экономический порядок — это новообразование, это *непреднамеренный и невольный* результат действий большого количества людей, движимых лишь собственными интересами. <...> Система цен действует настолько хорошо и эффективно, что чаще всего мы даже *не осознаем*, что она вообще действует»².

Таким образом, идея рынка реализует определенный идеал автономии индивидов, обезличивая социальное взаимодействие. Рынок отсылает к архетипу анти-иерархической системы организации, такого способа принятия решений, в который не вмешивается никакая преднамеренность³. На смену волонтаристскому вмешательству приходят профессиональные процедуры и логики. Этот продолжающийся переход, который по-прежнему составляет одну из главных характеристик современных обществ, объясняет и возникновение нового отношения к идее социального изменения. В мире, регулируемом чисто процедурно, то есть деперсонализированном и правовом, не остается места прежним революциям, поскольку нет больше командующей властной инстанции,

¹ См.: Фридман, Милтон, Фридман, Роз. Свобода выбирать. М.: Новое издательство, 2007. — Примеч.ред.

² Цит. по: Дурью. J.-P. La main invisible et l'indetermination de la totalisation sociale // Cahiers du CREA. 1982. № 1 (октябрь).

³ Откуда и происходят все споры в середине 1970-х об отношениях между либерализмом и самоуправлением (см. на эту тему мою книгу «Cage de l'autogestion». Seuil, 1976).

которую можно было бы свергнуть или заменить. И возможно, не остается места даже для реального бунта, о чем свидетельствует определенный социальный фатализм в отношении феномена безработицы. Как можно восставать, думаем мы, против того, что, по-видимому, является результатом действия нейтральных процедур, чисто объективных механизмов? В этом также одна из основных особенностей, позволяющих охарактеризовать наши общества как либеральные. Мы здесь уже очень далеки от первоначального чисто технического рассмотрения вопросов регулирования современных экономик. Отсюда — термин «утопический капитализм», вынесенный в заглавие этой книги и призванный обозначить то, что предстает в нераздельном единстве как искушение и как иллюзия.

Первая часть этой книги посвящена в основном Адаму Смиту, и в ней рассматривается происхождение и расцвет утопии рынка как принципа общественной организации. Вторая часть посвящена распространению этой утопии главным образом в XIX веке. В это время образ саморегулирующегося общества покидает поле экономики — поскольку становится невозможным отождествлять мир победившего капитализма с *doux commerce* — и поселяется во всех великих доктринах отмирания политики и перехода от управления людьми к управлению вещами: в этом смысле Маркс — естественный преемник Смита. Либеральная экономическая утопия XVIII века и социалистическая политическая утопия XIX века отсылают, как ни парадоксально, к одному и тому же видению общества, основанному на идеале полной отмены политики. С этой точки зрения либерализм и социализм, несмотря на все имеющиеся между ними расхождения, соответствуют одному и тому же моменту взросления и самоосмысления современных обществ. При таком подходе, как, возможно, уже стало ясно, интеллектуальная история не просто помогает нам понять прошлое и прояснить наше мироощущение: она информирует и наше видение настоящего. Ибо стремление к саморегулирующемуся гражданскому обществу, распространяющееся посредством идеи рынка с XVIII века, до сих пор составляет подоплеку наших экономических и политических представлений.

Тройная утопия либерализма

Подход, очень кратко обрисованный в этом предисловии, как мне кажется, дает возможность по-новому осмыслить проблему

современного отношения к вопросу либерализма. В сегодняшнем отношении к либерализму нередко проявляется то, что выглядит как противоречие или, по меньшей мере, расхождение между «политическим либерализмом», основанным на признании прав и свобод и поддержании плюрализма, который, как правило, оценивают позитивно, и «экономическим либерализмом», который гораздо чаще воспринимается как нечто подозрительное. Термины, в которых понятие рынка рассматривается в данной работе, дают возможность взглянуть на проблему в иной перспективе. Действительно, рынок и правовое государство ведут свое происхождение из одного и того же источника протеста: неприятия определенного способа институционализации власти над индивидами. В каждой из этих областей утверждается один и тот же принцип: индивидуальная автономия, основанная на отрицании любых форм абсолютной власти. Если есть общее смысловое ядро, которое позволило бы говорить о либерализме в единственном числе, то оно именно таково. В этом смысле, нет изначального противостояния между философией прав человека, провозглашаемой политическим либерализмом, и тезисом экономического либерализма об организующем характере экономических *законов* и *ограничений*, управляющих рынком. В обоих случаях признается, что над людьми и вещами нет никакого верховного правителя и что между людьми не существует отношений, основанных на личном подчинении. Центральное место власти должно оставаться пустым, поскольку отвергаются любое личное господство и любая монополия, устанавливающие отношения принуждения. «Правление, основанное на представительной власти, и рынок идут рука об руку и взаимосогласуются, — справедливо замечает Пьер Манан. — Индивид лишь тогда становится свободным и эмансипируется от личных форм власти, когда распределяет свою веру между этими двумя безличными инстанциями. В обоих случаях он не подчиняется ничьим приказам: предписания рынка никем не навязаны, они есть результат действий всех и каждого; законы государства общи для всех и ни для кого не делают исключения, и в конечном итоге они есть творение всех и каждого благодаря институту представительства»⁴.

Таким образом, либерализм, утверждающийся в Европе начиная с XVII века, знаменует новую веху в понимании отношений между индивидом и властью. Он продолжает работу по политичес-

⁴ См. предисловие к антологии: *Manent Pierre. Les Liberaux*. Paris: Pluriel, 1986. Vol. 2.

кой секуляризации и утверждению приоритета личности, начатую в XIV веке. В этом смысле он не столько выражает некую чисто техническую доктрину, сколько характеризует определенную культуру. Либерализм сопровождает вхождение обществ Нового времени в новую эру представлений о социальной связи, основанных на принципах пользы и равенства, а не, как это было ранее, на существовании некоего изначального единства. Противопоставляя себя руссоистскому универсуму договора, он становится пружиной критики, направленной против принципа руководства и воли. В некотором смысле, либерализм, в котором экономика и политика неразделимы, делает *деперсонализацию мира* условием прогресса и свободы. В своих политических сочинениях Юм, величайший либеральный философ XVIII века, идет еще дальше, восхваляя в духе этих идей *привычку* и *обычай*. Дабы впредь порядок не основывался на зависимости индивидов от политической или религиозной власти, поясняет Юм, необходимо действительно, чтобы поведение в обществе регулировалось максимально безличным механизмом, который труднее всего присвоить и которым труднее всего манипулировать, — традицией. Единство интеллектуальной истории либерализма — в этом поиске альтернативы традиционным отношениям, основанным на принципе власти и зависимости.

Более того, через принцип суверенной автономии индивида, признаваемого полноправным хозяином и распорядителем самого себя, утверждается также качественно новый подход к морали. Одна и та же культура обнаруживается в итоге в основании «экономического либерализма», отсылающего к рынку, «политического либерализма», утверждающего приоритет прав человека, и «морального либерализма», который делает человека единственным судьей своих действий. Отделяя власть от общественного мнения, государство от общества, частное от публичного, индивидуальную мораль от правил общественной жизни, грех от преступления, эти «три либерализма» способствовали выработке новых форм социальных отношений. Что позволяет говорить о либерализме в единственном числе. В «Письмах о терпимости» Локка, в «Исследовании о природе и причинах богатства народов» Смита, в «О духе законов» Монтескье и «Принципах политики» Бенжамена Констана осуществляется одна и та же освободительная работа. Эти разные книги служат выполнению единой задачи.

Обрисованная таким образом перспектива позволяет говорить о либерализме в единственном числе и преодолеть трудности, которые возникают всякий раз, когда мы пытаемся выявить единство в основополагающих текстах со столь разнообразными сферами

применения. Действительно, обилие, а иногда и противоречивость всей этой литературы, определяемой как «либеральная», оказываются проблемой лишь в случае, если мы пытаемся рассматривать либерализм как *доктрину*, то есть как корпус теоретических суждений и оценок, обладающий внутренней связностью и в то же время разнообразием. Ибо ясно, что докринального единства у либерализма нет. *Либерализм — это культура*, а не доктрина. Отсюда — и те характеристики, что составляют его единство, и те, что порождают его противоречия. Либерализм — это действующая в современном мире культура, которая начиная с XVII века стремится освободиться и от королевского абсолютизма, и от господства Церкви (отсюда, кстати, берет начало глубинная связь либерализма с Реформацией, на которой мы здесь не будем отдельно останавливаться). Единство либерализма — это единство *проблемного поля*, совершаемой работы, суммы устремлений.

Будучи помещенной в этот общий контекст, утопия рыночного общества предстает неотделимой от двух других утопий. Первая — утопия господства права, которое могло бы послужить еще одним субституту политическому порядку, основанному на конфликте и переговорах. Эта утопия есть естественное дополнение *утопии регулирования*, лежащей в основе современного понятия рынка. Вторая утопия — *антропологическая*: согласно ей, моральный и социальный универсум состоит из абсолютных индивидов, совершенно автономных и суверенных хозяев своей жизни. Логика подсказывает, что на этом утопическом триединстве должно строиться то, что можно было бы назвать «*абсолютным либерализмом*». Но нетрудно видеть, что это происходит лишь в очень редких случаях, хотя набросок такого проекта был сделан шотландскими философами XVIII века, и в особенности Джоном Стюартом Миллем в XIX веке. Специализация произведений по дисциплинам может, конечно, служить объяснением того, почему столь редки попытки дать законченное выражение подобного «полного» либерализма, покоящегося на триединой утопии рыночного общества, приоритета прав и радикального индивида. Но трудность здесь еще и интеллектуального порядка. Она связана с тем, что утопическое измерение либерализма может быть замаскировано, когда анализируется лишь одна из его составляющих (в самом деле, рынок можно свести к экономической технологии, а торжество права — к практическому способу обеспечить плюрализм и защиту индивидов), но в своем развитом выражении оно выявляет себя со всей очевидностью.

Либерализм и его враги

Такой подход к либеральной утопии помогает разобраться и в парадоксах современного антилиберализма. Замечательный факт: «радикальных» антилибералов, таких, что не признавали бы ни рыночного общества, ни главенства прав человека, ни моральный либерализм, ныне почти не существует. Только в рамках традиционалистской мысли в духе Бональда или в тоталитарных обществах полный антилиберализм мог находить последовательное и явное выражение. Фашизм и коммунизм объединяло то, что они отвергали как антропологическую основу либерализма, так и вызванные им к жизни формы социального устройства и регулирования⁵. Ныне ситуация существенно изменилась. Антилиберализм стал гораздо более сложносоставным, он рассматривает каждую из трех утопий по отдельности, что-то принимая, что-то отвергая. Сегодня можно выделить три основные конфигурации антилиберализма:

— *Моральный антилиберализм*. Он часто сосуществует с искренним приятием рыночного общества и сдержанным отношением к правам. Американское «моральное большинство», так же как и консервативные правые в Европе, представляет эту позицию.

— *Экономический антилиберализм*. В настоящее время он часто соседствует с активным моральным либерализмом и публичным прославлением прав человека. К этому все более приближаются позиции новых крайне левых и радикальных левых во Франции.

— *Юридический антилиберализм*. Он характерен для «республиканских» слоев общества, обеспокоенных ростом влияния судей и независимых инстанций власти, в котором им видится угроза народному суверенитету. Нередко сочетаясь с критическим отношением к рыночной экономике, такая позиция может предполагать самые разные типы отношений с моральным либерализмом.

Конечно, эти три конфигурации представляют собой лишь идеальные типы, в реальности же мы имеем дело с многочисленными неоднородными комбинациями. Но они полезны тем, что помогают осмыслить противоречивый характер современного антилиберализма, который почти всегда содержит хотя бы один из элементов либеральной культуры Нового времени. По сути оказы-

⁵ Единственное, что могло бы считаться спорным в этом контексте, — это сложное отношение марксизма к моральному либерализму (в то время как коммунистические режимы были достаточно жестко антилиберальными в сфере морали).

вается, что либерализм и антилиберализм всегда переплетаются друг с другом. Это разнообразие помогает также осмыслить многозначность прилагательного «либеральный», которое в Соединенных Штатах означает то, что мы в Европе назвали бы «левым», в то время как у нас оно имеет коннотацию «правого»⁶. Чем можно объяснить эту странную путаницу? На этот счет можно предположить следующее: в противоречиях антилиберализма проявляется одновременно критика либеральной утопии и признание неотвратимости той современности, которую последняя выражает. Эту двойственность, таким образом, не следует понимать лишь как непоследовательность⁷. Здесь на основе разных мировоззрений осуществляется один и тот же жест. В каждой из конфигураций антилиберализма имеет место отсылка к соответствующей встречной утопии: утопии некоей основополагающей человеческой природы — в случае морального антилиберализма; утопии организующего и рационализирующего волонтаризма — в случае экономического антилиберализма; утопии некоей управляющей очевидным образом общей воли — в случае юридического антилиберализма. У этих трех встречных утопий разная природа. Первую можно охарактеризовать как архаичную. Она выражает, в строгом смысле слова, реакцию, отвержение современности, она ругает за возврат к старому

⁶ Это несовпадение происходит попросту от того, что в Соединенных Штатах расхождения концентрируются вокруг вопроса о правах и вокруг морали, в то время как во Франции центральным предстает скорее вопрос рынка. Но можно с удивлением констатировать, насколько дискуссия по такому вопросу, как PACS, усложнила и переопределила во Франции критику либерализма (см. дискуссии, имевшие место осенью 1998 года). (PACS, Pacte Civil de Solidarité, Гражданский договор солидарности — регистрируемый в государственных органах договор, который может быть заключен между двумя лицами — как разного, так и одного и того же пола, — не состоящими в браке и желающими вести совместную жизнь. Закон о PACS был принят французским парламентом в 1999 г. — *Примеч. ред.*)

⁷ В этом пункте я не согласен с мнением Марка Лилла, которое он высказывает в своей статье, в целом очень интересной: Mark Lilla, «A Tale of Two Reactions» (New York Review of Books. 1998. Французский перевод в «Esprit»: La double révolution libérale: Sixties et Reaganomics. 1998, octobre). Он действительно расценивает как непоследовательность одно из только что рассмотренных нами противоречий и призывает экономических либералов 1980-х принять революцию нравов 1960-х годов, а защитников культуры 1960-х, в свою очередь, принять рейгановскую революцию. С его точки зрения, либеральная революция должна быть едина.

порядку, считая его чем-то субстанциональным и противопоставляя общину или сообщество индивиду. Она опирается также на признание невозможности радикального самопорождения индивида⁸. Две других имеют более политический характер. Они отсылают к идеалу преднамеренно институцированного и волонтаристски управляемого общества. Они, таким образом, встраиваются в то, что можно было бы назвать демократической утопией (утопией, против которой как раз и была направлена идея рыночного общества).

Понимаемый таким образом антилиберализм в истоке своем связан с двумя проблемными моментами. С одной стороны, это антропологическое напряжение между старым и новым, между сообществом и индивидом. С другой, это напряжение между двумя противоположными утопиями современности — сакрализацией воли и превозношением безличного регулирования. Осмысляя эмансипацию человечества, нельзя забывать ни об одном из этих противоречий, ибо каждая из утопий должна проходить постоянную проверку своей противоположностью. В любом случае, одно представляется невозможным: строить справедливое видение мира на избирательном антилиберализме. Ибо и в критике общества, и в рефлексии по поводу его реформирования следует учитывать современность, взятую во всех ее измерениях. Именно поэтому разрыв с утопическим либерализмом не может ограничиваться дискуссией о рынке как системе регулирования. Задача шире. Речь идет о том, чтобы помыслить политическое общество в его отличии одновременно и от государства, и от гражданского общества; цель в том, чтобы прежде всего наделить политическое поле автономией и спецификой, а не упразднить его; в том, чтобы признать, что демократия может развиваться, только когда мы признаем неустранимость социального разделения и конфликтов, что она, следовательно, не зиждется на утопии «Единого Народа» и некоей общей воли, которая с очевидностью могла бы быть узнана и приведена в действие; в том, чтобы помыслить демократию как постоянное сражение, которое никогда не приведет к преодолению собственных трудностей и окончательному результату, а не как некую переходную реальность. Одним словом, речь идет о возврате к политическому. Следует также преодолеть образ рыночного общества, но не пытаясь при этом вернуться к невозможному коммунитарному идеалу (путь, который необходимо здесь обозначить, —

⁸ Этот тезис и придает всю юридическую и философскую важность вопросу законности преемственности.

это путь *реинституционализации индивидов*). Только при таком условии мы перестанем быть осиротевшими наследниками утраченных иллюзий и сможем день за днем бороться за настоящее, которое наконец уже не будет просто ожиданием и подготовкой великой мечты.

Октябрь 1998